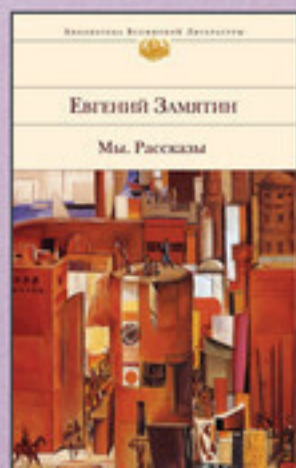


Евгений Замятин

Рассказ о самом главном



*Часть сборника
Мы. Рассказы*



ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

Рассказ о самом главном

«Public Domain»

1923

Замятин Е. И.

Рассказ о самом главном / Е. И. Замятин — «Public Domain»,
1923

«Мир: куст сирени – вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь Rhoralosega с рогом на хвосте. Сегодня мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом – тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать – если бы я умел! – все услышали бы. Я – нем...»

Рассказ о самом главном

Мир: куст сирени – вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь Rhopalosera с рогом на хвосте. Сегодня мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом – тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать – если бы я умел! – все услышали бы. Я – нем.

Еще мир: зеркало реки, прозрачный – из железа и синего неба – мост, туго выгнувший спину; выстрелы, облака. По ту сторону моста – орловские, советские мужики в глиняных рубашках; по эту сторону – неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я – орловский и келбуйский, я – стреляю в себя, задыхаясь, мчусь через мост, с моста падаю вниз – руки крыльями – кричу...

И еще мир. Земля – с сиренью, океанами, Rhopalosera, облаками, выстрелами, неподвижно мчащаяся в синь земля, а навстречу ей, из бесконечностей, мчится еще невидимая, темная звезда. Там, на звезде – чуть освещенные красным развалины стен, галерей, машин, три замерзших – тесно друг к другу – трупы, мое голое ледяное тело. И самое главное: чтобы скорее – удар о Землю, грохот, чтобы все это сожглось дотла вместе со мной, и дотла все стены и машины на Земле, и в багровом пламени – новые, огненные я, и потом в белом теплом тумане – еще новые, цветоподобные, тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы – ...

Над Землею – мыслями – облака. Одни – в выси, радостные, легкие, сквозь розовеющие, как летнее девичье платье; другие – внизу, тяжелые, медленные, литые, синие. От них тень быстрым, темным крылом – по воде, по глиняным рубашкам, по лицам, по листьям. В тени – отчаянней мечется Rhopalosera головой вправо и влево, и в тени чаще стрельба: солнце не мешает, удобнее целиться.

Миры пересеклись, и червь Rhopalosera вошел в мир Куковерова, Тали, мой, ваш – на Духов день (25 мая) в келбуйском лесу. Там – поляна, до краев налитая крепчайшим, зеленым, процеженным сквозь листья солнечным соком; посреди поляны огромный сиреневый куст, ветви согнуты тяжестью цветов; и под кустом, по пояс в земле – каменная баба с желтой тысячелетней улыбкой. Сюда придут сейчас к Куковерову пятеро келбуйских мужиков, чтобы сказать ему, когда они начинают: послезавтра, завтра, может быть – даже сегодня. Но пока еще пять минут Тале и Куковерову быть здесь вдвоем.

У Куковерова нет спичек, и он ловит солнце лупой – закурить. Молча растет на папироске седой, чуть курчавый пепел, и как пепел – у Куковерова волосы, а под пеплом...

Чтобы не смотреть на нестерпимые эти изгибы в уголках Талиных губ, Куковеров смотрит на каменную бабу. Но там – тоже губы, улыбка – тысячелетняя. И он опять поворачивается к Тале:

– Вот – когда-то эти губы мазали человеческой кровью. В такой же день.

– А вы все, теперь, разве не мажете?

– Да. Но не только чужой – и своей тоже, своей кровью. И знаете – может быть...

И в себе – очень тихо: что, может быть, это случится уже завтра, послезавтра, и надо скорее взять как можно больше неба, и вот этот куст сирени, и роющего лапками в цветах шмеля, и еще – еще одно...

Пальцы у него чуть дрожат (один палец – прокуренный, желтый от табаку), с папиросы сваливается седой, чуть курчавый пепел.

– Вам, Таля, восемнадцать лет, а мне... Это, может быть, смешно, что я... ведь я вас знаю всего неделю. А впрочем... Вам никогда не приходило в голову, что теперь Земля вертится в сто раз быстрее, и все часы – и всё в сто раз, и только поэтому никто не замечает? И вот,

понимаете, какой-то один день – или минута... Да, довольно минуты, чтобы вдруг понять, что другой человек для вас...

Густые, пригнутые вниз тяжестью цветов сиреневые ветки. Под ними – вышитая кое-где солнцем тень – в тени – Таля. Ее густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов, ресницы.

У Куковерова уже нет слов, и неизвестно почему – нужно согнуть, сломать сиреневую ветку. Ветка вздрагивает – и вниз летит желто-шелковый *Rhopalocera* прямо на Талины колени, в теплую ложбину ее пропитанного солнцем и теплом платья. Там свивается мучительно-тугим кольцом – и если бы, если бы крикнуть, что ведь завтра – надо умереть!

Куковеров молчит. Таля:

– Ну, что же вы? Дальше! Ну?

Согнутые тяжестью цветов ресницы; одна какая-то точка в уголку ее губ. Спичек нет. Куковеров зажигает папиросу лупой, пальцы дрожат, дрожит нестерпимая для глаза точка сгущенного солнца. И – да, это именно так: уголок губ – там, как сквозь лупу, вся она, все ее девичье, женское – то самое, что...

– Дальше? Вы хотите, чтобы я сказал, что дальше?

Голос – не куковеровский, темный, из-под наваленного вороха. Таля поднимает ресницы, и вот захваченное враспloh его лицо, синие – настезь, вслух обо всем – глаза, пропаханные тюрьмою морщины, волосы как пепел, палец желтый от табаку.

Это – миг. И Таля – снова у себя в тени ресниц, сирени, нагибается, нагибается еще ниже, тихонько поглаживает шелковую спинку *Rhopalocera* и говорит ему одно какое-то слово, неслышно.

Но Куковерову кажется, что он услышал – и у него вдруг так больно толкнулось сердце, будто там не сердце, а живой ребенок. И когда Куковеров вслух вдохнул в себя лес, небо, шмеля, солнце: «Хорошо... все-таки!» – Таля понимает, что он понял, и тоже как живой ребенок – в ней сердце.

А наверх, Куковерову – слова, потому что сейчас нельзя молчать:

– Я их очень... Я, когда была маленькая – выводила из них бабочек. Одна вывелась у нас зимой, на Рождество, окна – во льду, летала – летала...

Куковеров – тихо:

– Вот и я тоже...

Но что «тоже» – это никогда не будет сказано: к каменной бабе, к богу, некогда вскормленному человеческой кровью, подходят по-медвежьи – на босых пятках – пятеро. Таля быстро поднимается из тени (ресниц, сирени), идет через солнце – в белом, сквозь розовеющем платье, уносит с собою отпечатанные где-то в глубине куковеровские глаза и на ладони *Rhopalocera*, которому завтра умереть.

Пятеро мужиков – один лешачьего, сосенного росту, голова как на шесте – вваливаются все разом в еще распаханного настезь Куковерова и в ответ ему («Ну, как же решили, ребята?») – все разом:

– Готово! Председатель Филимошка – уж под замком, на съезжей. Хватит, побаловали советские!

Это – зажжен фитиль, и бежит искра к пороховой бочке: может быть, фитиль длиною в часы, может быть – в дни, но с каждой минутой все ближе искра – и вот грохнет полымем, дымом, кусками человеческих сердец, моего сердца.

* * *

И в тот же Духов день – в городе, где белая, не оседающая пыль, камень, жестяные облака, железные красные с золотыми буквами вывески и железные люди. Там, на краю, на горбатой улице куры щиплют пахнущую редькой веничную траву – куры, взъерошенные и изъеденные

вшами, как люди. И там за голубыми некогда ставнями заткнуты березки – вчера, на Троицу, перед обедней, заткнула мать Дорды. От ее старинного шелкового шашмура на голове, от ее грибного старушечьего запаха, от березок с свернувшимися на солнце в трубочку листьями – внутри у Дорды что-то полощется секунду, как на ветру спаленный солнцем березовый лист. Но только – секунду.

Вынул из кобуры револьвер, и сам – револьвер, в черной, кожаной – или даже, может быть, металлической кобуре, заряженные глаза. Он говорит матери, вкладывая патроны в обойму:

– Что, опять в церковь ходила? Эх, старая! А туда же: «Я все понимаю, я – я...»

– А что же, милый: с Христом все трудящие были – пастухи, волхвы и ангелы. Да. Против этого не скажешь.

– Как, как – трудящие... ангелы?

Сквозь железные фланцы трубы вдруг прорвет вода, брызнет вверх, в стороны, радуются ребята: так сейчас из Дорды – смех, и никак не попадает патрон в обойму. Но торопятся взрослые отогнать ребят и скорее заткнуть воду, и вот уже Дорда снова в кобуре – кожаной или, может быть, металлической, патрон шелкнул и стал на место.

Мать – с сердцем:

– Ты это что в праздник-то взгойчился? Куда заряжаешься?

– А в Келбуе мужики бунтуют, вот куда. Побаловали, хватит!

Под шашмуром – морщины. Коричневые губы чуть заметно шевелятся – берестой на огне, но вслух нельзя, и только подолом кофты вытерты нос, глаза. И глазами – материнскими глазами всего его запомнить, уложить в себя его темную, стриженую голову, вот эту жилку на виске – чтобы в тот день, когда принесут его – ...

Губы у него сжаты (сейчас, всегда), вход замурован, выбелен: стена. Вдруг странно открывается рот, не там, где казалось, а гораздо выше – верхняя губа очень короткая. И слова:

– Ты бы лучше чего в дорогу мне собрала, чем так-то.

Согнувшись, она шмыгает, чуть шаркают стоптанные башмаки. В тишине я слышу... вы знаете этот смешной человеческий звук – носом, когда нельзя, чтоб было видно, когда слезы нужно глотать?

И может быть, прав Куковеров – все мчится в сто раз торопливей, проходит минута, не больше – и вот уже Дорда лежит в окопе. В окопе – влажная глина, под локтем у Дорды ямка, заряженными глазами сквозь бинокль он смотрит на мост, на келбуйские избы (ставни у них тоже голубые). В синем воздухе – «фиеааоу» – свист, пение, падает – глохнет – бульк: пуля. Все ниже в синем небе ястреб, и вот уже видно: на безруких плечах вправо и влево ворочается острая голова с нацеленными глазами. Глаза нацелены на Дорду, на орловских – сердитых, добродушных, мохнатых, как шмели, – на мясо: там, позади окопа, лежит один – только сейчас был я, а теперь – просто мясо, и породистые, зелено-бронзовые мухи ползают по руке, по глазам, сосут в уголку губ.

И около Дорды – рябой, животом на глине, добродушно щелкая затвором, ворчит:

– Рази это война? На войне, бывало, кэ-эк хлобыстнет – голова костромская, кишки новгородские – разбирай... Вот это вот так! А это рази война?

Глиняная рубаха у него застегнута неверно – одна петля пропущена, – и сквозь видна желтая с шмелиным волосом грудь. И может быть – он, может быть – другой такой же, говорит медленно, прожевывая ржаной кус:

– Я тут в прошлом годе менял: за фунт гвоздей два петуха, вот это вот так! Товарищ Дорда, хлеба не хошь?

Но Дорда не слышит: стал на колени, слушает свое сердце – раз, два и три – как звон часов ночью, в бессонницу. Откуда-то: «С Христом все трудящие, пастухи, волхвы и ангелы» – черный шелковый шашмур. И Дорда командует резко, револьверно:

– Ну – через мост! По одному бе-го-о-ом...а!

В синем воздухе: фииеааоу – и коршун. Я, каждый я, знаю: это мне – коршун, мухи, мучительно-тугим кольцом сгибается тело. Потом вместо я – мы, и у всех нас одно, самое главное, единственное в жизни: чтобы через мост – и согнуть, сломать тех – прочь с дороги, с земли – чтобы не мешали. Чему? Да счастью, конечно.

Где-то в коршуньей выси между землею и небом – мост к счастью, доски и рельсы, Дорда, глиняные рубахи. Сквозь железные кружева – секундные куски сини, желтых соломенных крыш, серой речной ряби внизу. И последнее: а ведь падать отсюда вниз – высоко, долго, без конца лететь.

Дорда еще не знает, еще две-три минуты не будет знать, упадет он или нет. А на темной звезде уже знают: сегодня – последнее.

Там ночь. На Земле – день, а там на звезде – ночь, в черном небе – две огромных, зеленовато-ледяных луны над пустынями и скалами, от скал – синие зубчатые тени. Тысячелетняя тишина, луны все выше, и вот внизу уже тускло поблескивает стекло стен, галерей, лестниц, куполов, зал – все зеленоватое, прозрачное – из замороженного света двух лун. Тишина.

Лунный свет все ярче, и как во сне, когда все сразу – вырезанно, мгновенно, четко – как во сне видно: четверо. У колонны один... нет: одна, высокая, неподвижно, мраморно ждет; только что поднята плита – еще покачивается цепь над люком, и двое лежат на полу, вцепившись в края люка так, что побелели ногти; в стороне стоит мальчик – глубокие слепые впадины глаз, слушающая голова – набок, по-птичьи.

И сквозь стиснутые зубы – трудный шепот, но каждое слово отчетливо – как во сне, когда я живу внутри, в каждом.

Шепот у колонны (женщина, высокая, сдвинуты брови, глубокая расселина между бровей):

– Ну, что же – теперь поверили мне?

Шепот над люком (двое, мужчина и другая женщина, губы дрожат):

– Да... (громче, отчаянно): Нет! Последняя? Нет!

Последняя бутылка воздуха. Здесь, на звезде, воздуха уже давно нет, он – как драгоценнейшее голубое вино – в стеклянных бутылках, веками. И вот последняя бутылка, и четверо последних – племя, нация, народ. Одна, высокая – она стоит сейчас у колонны, и у ней сдвинуты болью брови – когда-то была мать всем троим. Когда это было – сто или тысячу кругов назад – это все равно: теперь – последний круг, и мужчина уже не сын ей, а муж, и другая женщина – не дочь, а другая женщина.

Ярче ледяной свет, и сейчас во всем мире только одно: поднятая вверх рука и чуть поблескивающая голубая бутылка, пальцы сжимают ее так, что побелели ногти... не пролить ни одной капли, каждая капля – минута моей жизни, я – мужчина, я – силен, мне – жить. Вытянув шею, мальчик щупает пустоту, спотыкается, вцепился мне в руку... прочь, урод!

Но там, у колонны, сдвинуты брови, оттуда – один удар глазами – как плетью, мужчина, спрятавшись в исподлобье, дает глотнуть слепому. Потом – три, с закрытыми глазами, запрокинутых головы – впивают, впитывают, дышат, и розовеют мраморы, звенят сердца – жить! жить!

Без одежд – как статуи. У одной женщины, младшей, когда она пьет, под мышкой видны расплавленные медные волосы. Быть может, случайно мужчина прикасается плечом к ее плечу – нет, не случайно: это уже было и раньше, но теперь, когда все равно и ничего не страшно, – теперь он прижимается крепче, еще крепче – и из тела в тело улыбка, улыбаются плечи, колени, бедра, груди, губы, и нет завтра, ничего нет – только сейчас.

Старшая, Мать – смотрит; все темнее, все глубже у ней расселина между бровей. Подошла, в ладонях сжимает лицо его, мужа, насильно входит в его глаза – по скользким ступеням вниз, на самое дно. Там, на дне, она видит...

Пусть: только в последний раз впитать в себя это лицо, стиснуть так, чтобы на розовом – белые следы пальцев. И потом ее слова – обыкновенные, простые, но каждое нужно вырвать из себя с мясом:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.